

Александр Солженицын
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, ТОМ ДЕСЯТЫЙ
КРАСНОЕ КОЛЕСО
ПОВЕСТВОВАНИЕ
В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ
УЗЕЛ 2
ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО
КНИГА 2

Во второй книге «Октября Шестнадцатого» читатель погружается в тоску окопного сидения и кровавую молотилку боя, наблюдает тамбовских мужиков и штабных офицеров, Ленина в Цюрихе и думских депутатов в Таврическом, наконец, слышит знаменитую речь Милюкова, «штормовой сигнал революции».

АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ДЕСЯТЫЙ

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНИЕ

В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

УЗЕЛ II

ОКТАБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

КНИГА 2





Штерненберг (нагорье Цюриха) 1974

УЗЕЛ II

ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

14 октября — 4 ноября ст. ст.

КНИГА 2

Двадцать пятого октября после полудня, ещё раз заглянувши в Главный Штаб на последнее додольце, Воротынцев вышел на Невский. Его билет был на поздний поезд, с Ольдой он уже попрощался утром, а вечерок мог провести наконец с няней и с Верой. И оставалось пройти Невский до Караванной, последний раз.

Как будто светлым, звонким, победно-успокоенным веществом он налит был весь, не на костях держалось его тело, а — распором этого вещества. Как будто он ни в чём, никаким родом не отполнялся эти дни, а лишь набирался, набирался этого победного вещества и пребывал теперь в таком звенящем состоянии жизни, как незапамятно когда, как может быть никогда, как думать было невозможно неделю назад.

У Ольды на стене висел ещё и гонг темноватого металла. После удара волосяной палочкой он долго-долго сохранял внутреннее гудение, протяжный глухой радостный звук. Вот таким же тронутым гонгом чувствовал сейчас себя и Георгий. Он сам до сих пор не знал, что из него извлекаются звуки, он думал только, что он обладает массой, что он металл и наблещен. А вот звук — гудел и гудел в его груди, и оттого казался новым весь мир и особенно — женщины в нём.

Восемь дней он пробыл в Петрограде, кончал девятый — а не выполнил того единственного, для чего задумана была вся поездка, — так и не встретился ни с кем серьёзно. Такой измены долгу в своей жизни не мог бы он вспомнить.

Он упрекал себя разумом, а телом — был благодарен. Утекали единственные месяцы или недели спасти положение, но и он же, Воротынцев, жил жизнь единственную и тоже, может быть, последний месяц, — и как же он мог отклонить, если судьба придвинула такое? Он был бедняк без этого, он просто — жизни бы так и не узнал без этих восьми дней.

Он упрекал себя, но были и оправдания. Во-первых, он телефонировал Гучкову несколько раз и просил передать, и даже сегодня днём брал телефон, но не застал опять: в городе, воротится вероятно вечером. Ну, значит, не судьба. А во-вторых, Олда, отобравшая его от долга, отчасти и затмила его уверенность. Всё сложнее намного, чем он думал с налёту, и требует размышлений. Как-то он за эти дни поостыл кого-то искать и что-то выяснять.

Из Румынии вылетев как снаряд — в пути незаметно и мягко он потерял разрушительную скорость.

Идя по проспекту, Воротынцев по обычной военной привычке замечал косым зрением встречных военных, чтобы не упустить отдать честь. И теперь, перейдя Полицейский мост, он таким косым зрением увидел мощного военного в папахе, генерал-майорские погоны, — и острый взмах руки сам собой отдался ещё прежде, чем Воротынцев посмотрел на лицо этого генерала и узнал в нём — Свечина!!

Ответил и тот сперва тем же механическим взмахом, тоже не сразу разглядев и опознав.

Вообще-то Воротынцев читал в «Русском инвалиде» и знал, что Свечин — уже генерал-майор, помнил, однако и не помнил, не держал в памяти отдельно от прежнего Свечина, — и теперь моргнул от неожиданности.

Повернули, сшагнули, сошлись в рукопожатии.

— Е-горий?

— Ваше превосходительство!

— Ну уж! — приобнял. — Был бы и ты, сам не захотел. Помнишь известное определение: генерал — это достаточно поглупевший полковник?

— Хорошо, что ты не забыл. Ещё не отказываешься?

— Хотя по себе не замечаю, — сильными губами улыбался Свечин, — но отказываться было бы неблагоприятно. Впрочем, — коснулся золотого эфеса воротынцевской шашки, — разве это хуже?

Сказал для вежливости, так не думал?

Да Воротынцев не завидовал — ни когда первый раз прочёл в списках, ни когда увидел сейчас. Двух чувств он вообще не знал в жизни — зависти и обиды, вероятно от высокой уверенности в себе. И никогда за два года он не раскаивался, что тогда на ставочных генералах душу отвёл и правду насытил.

А всё-таки и в «Инвалиде» кольнуло, и сейчас кольнуло...

— Или это не ты? Вас — двое, что ли? Ты же в Ставке, вот письмо в кармане, звал меня заезжать.

— Так и вас — двое? Я тебе в полк писал, а ты — в Петербурге?

Удачная встреча! Воротынцев не знал, насколько серьёзно истолковать свечинское письмо, полученное перед самым отъездом, и — заезжать ли в Ставку на обратном пути.

— Уже уезжаю. Сегодня ночью.

— А я — через три часа. Жаль, что не вместе.

В левой руке Свечина был крокодиловый чемоданчик, настолько маленький, что ни грузом, ни багажом нельзя было его назвать, и даже генерал мог нести его, не противореча уставу.

— А приехал когда? Вот не встретились! — порывом пожалел, а на самом деле не мог жалеть Воротынцев: за Ольдой когда ж бы им?

В чёрных глазах Свечина просверкнуло холодное:

— Сегодня утром.

Не понял:

— Сегодня и приехал, сегодня уезжаешь?

— Я... — с жестоким пожимом больших губ, — приезжал только порвать с женой.

В толк не взять:

— С утра — и до вечера?

— И дня много, — жестоко, небрежно говорил Свечин мимо Воротынцева.

За это время они произвольно повернули — так, как шёл Свечин, перешли Мойку, постояли, перешли Невский к Деловому клубу, постояли. И, как складывались сами шаги, пошли по Мойке в сторону Гороховой.

Весь день провисело тяжёлое небо, особенно тёмное сейчас, к ранним северным сумеркам. И начинался дождь, серая поверхность Мойки помарщивалась от капель.

— Понимаешь, — хмуро объяснил Свечин. — Несколько месяцев назад я узнал, что жена прибивается к распутинской компании. Я её — предупредил. Но я не евангелист, предупреждаю не семьдесят семь раз, а только один. Особенно женщину.

— Почему же к женщине строже всего? — с беззаботностью возразил Воротынцев.

— К ним-то? — настаивал Свечин. — Никак иначе. Иначе пропадёшь. Можешь денщика простить до десяти раз. Можно вольноопределяющегося простить за бегство с поля, ему не закрыто исправиться. А женщина — или понимает с первого предупреждения или безнадёжна.

Станный, безжалостный вывод. Но как приятно неожиданно встретиться со старым другом, при сохранившейся полной простоте отношений. Да вообще, после Ольды — что могло бы ему не понравиться? Всё отлично, всё кстати, даже дождь.

— Но что ж именно случилось?

— Ничего. Только чай приезжал пить Старец. В моей квартире — пил чай!! — длинные губы Свечина перевилились как жгуты. Это был признак бешенства, за то звали его, ещё при яркой черноте глаз, Сумасшедший Мулла. Однако в служебных делах никогда он это бешенство не проявлял.

— Ну — чай, слушай! Простое гостеприимство! — всё веселей, как будто дразня, возражал ему Воротынцев. — Да наверно ж и другие гости были, духовные разговоры вели.

— Молиться — церковь есть, — сурово отклонял Свечин, безчувственно к шутке. — Нужны обязательно старцы — езжай в Оптину. Да там, видишь, старцы не те. А если шестеро баб надевают прозрачные платья и трутся около здорового мужика...

— Ну, не по шестеро!

— Да по двенадцать! Рассказывают: в баню с ним ходят, графини-княгини, вот такие же жёны, по очереди мочалкой его трут.

— Ну, не все. Ну, не всякий же раз, — легко возражал Воротынцев.

Вот как. Бредём все разумно по набережной, а в сторону на шаг отступись и — бултых.

— Да я этих графинь в общем виде не осуждаю. Моя оговорка лишь в том, что *моей* жене там не место, она должна знать своего хозяина. Даже если там только чёрные сухарики принимают в душистые платочки да выпрашивают грязное гришкино бельё поносить. Пили чай за моим столом, была предупреждена, — достаточно.

— Но что она сама говорит?

— Не знаю. Это не имеет значения. — Сложил губы как для свиста. — Я, видишь ли, не застал её дома. А ждать не стал, мне завтра в Ставке быть. Написал записку, сложил вот этот чемоданчик, всё остальное — ей.

Поразился Воротынцев: чтобы так — не в кавалерийской атаке, а — кончать семью?

— Сыновья — оба в кадетском. Дальше в училище пойдут.

А дождь усилился, да крупноватый, мочил им папахи, шинели. Они прошлись вдоль Мойки, воротились к Кирпичному переулку. Темнело, сырело, скоро зажгут фонари.

— Так ты куда сейчас?

— Да куда. Пообедать.

— Так вместе? Хочешь, пойдём к моей сестре?

— Да давай в ресторан. Вот тут Кюба рядом.

Пошли по Кирпичному. Вот и мимо тройных витражей ресторана, уже задёрнутых, тепло освещённых изнутри. Завернули на Большую Морскую, к мраморному портику на штукатуренном доме. На повороте обошёл их мягко лихач на дутых шинах и раньше остановился у Кюба. Сошёл молодой человек, принимал за собой подругу. В песочном пальто и чёрной шляпке, не покрывавшей всех волос, она спрыгнула, тонкая, лёгкая, пошатнулась, и спутник придержал её, как обнял. Они вошли перед офицерами — и в дверях и в вестибюле потянулся ток духов от той девицы.

Под розовыми абажурами друзья с удовольствием раздевались в тепле, отстегнули и пашки. А те двое — у соседнего гардеробщика. Без пальто выявилась статуэточная отточенность девушки в золотистом платье до щиколоток, а без шляпки — избыток длинных волос, назад двумя каскадами. Спутник назвал её Ликоней.

Казалось — уж Георгий был переполнен, а нет, — появилось внимание смотреть. Вот и эту бы он раньше не заметил. А сейчас, встретясь с ней глазами, не счёл неприличным задержаться чуть дольше, будто надеялся успеть не полюбоваться, а выявить ей что-то своё.

— Такие барышни разве ходили сюда раньше? Кюба ведь был для деловых встреч?

— Вернёмся — многого не узнаем, — мрачно отозвался Свечин.

Да первое неузнаваемое и неприятное был спутник её — с выложенными подвитыми серыми локонами, чуть не напмаженный, с уверенно-ленивыми манерами. Надменно окинул он высших офицеров с их академическими аксельбантами и академическим серебряным прибором — как гардеробщиков, не больше отпуская им интереса.

— Это во время войны, сопляк такой. Погонять бы его по ходам сообщения, в три погибели.

— Да-а, — бормотал Свечин. — Читают стихи сомнамбулические, слушают этих истериков Северянина да Вертинского. Чтó тут пока растёт — нам неизвестно.

Первый этаж ресторана был длинная зала в коврах, в теплоцветных шёлковых занавесах на больших трёхарочных окнах, верхний свет несильный, а на столах стояли заабажуренные лампы. Но тип ресторана изменился, да: сидели дамы, переблескивая украшениями, курили длинномундштучные папиросы. А в дальнем углу у содвинутых столов, перегруженных блюдами, большая

компания справляла какое-то тыловое торжество. От них доносился избыток сытого шума, и ещё на помосте, за занавеской, мастерили для них какое-то зрелище.

Воротынцев никогда не был любителем ресторанов — по многолетней денежной стеснённости, но и принципиально: любой ресторан снижает темп дела и раздувает долю удовольствия — пропорция, которую Воротынцев себе в жизни никогда не разрешал, да давно и не желал.

Но сейчас приятно было опуститься в мягкий стул против Свечина и, уже в объёме сложного соединения многих съестных запахов, невообразимых для фронтовика, пождать пока поднесут меню, а раньше того что же? — закурить.

Случай так случай! — хорошо открывалось поговорить с другом — нестеснённо, обобщённо. Хотя в Петрограде ото всех разговоров Воротынцев скорее растрясся, чем собрался.

И Свечин расположился удобно, потянуть время до поезда, и с удовольствием поджигал трубку. Ни по чему было не угадать, что в этот самый час, или около, его жена входит в квартиру и от мужа, который мнится ей за семьсот вёрст, читает гильотинную записку.

Поразительно, как это смог он круто так, и как собой владеет.

Потому им было легко друг с другом, что ничего не надо проговаривать подробно: хоть и не виделись два года и почти не переписывались, но только назвать — и обоим ясно большей частью от начала, большей частью до конца.

Если *Шампань*, так это не родина шампанского, а участок, где всё прошлое лето обещали союзники начать наступление в вызволение нам, но не начали, но дали нам сгореть в нашем прошлогоднем безснарядном гибельном отходе — и снарядов тоже не прислали нам. А когда у нас всё кончилось, то они без пользы выпустили три миллиона своих в этой самой Шампани.

Да что союзники сделали за весь Пятнадцатый год? А английская пехота — много ли дралась? С начала войны продвинулась на несколько сот метров. Очень уж себя берегут.

Или: кавказскую армию зачем гоним в ненужное, безнадежное наступление по турецким горам? Что может быть бессмысленнее нашего наступления в Турции? Горы, снег, суворовские богатыри и чудеса, взят Эрзерум! — а применить ничего нельзя, всё зря.

Но выручает союзников под Салониками. Но выгодно для Англии в Месопотамии.

Ничего не надо объяснять, только называй. Сентябрьский ли измолот гвардии под Свинюхами-Корытницей (названия — как прилеплены, по достоинству операции). Или мартовское бессмысленное наступление у Нарочь-Дрисвяты — без всяких шансов на успех, спеша до оттепели, не считая потерь, продвинулись — и распутица, окопы залиты водой по колено, артиллерия и обоз не передвигаются.

— А всё только — выручить союзников под Верденом. А и верденский бой начали немцы, союзники б не решились. — Воротынцеву уже всё к одному цвету, отчаянному.

Но Свечин из Ставки может быть и справедливей:

— Это — измолотные бои. Французы под Верденом тоже, может быть, за двести тысяч потеряли.

Воротынцеву всё равно не по нраву:

— Они хоть — с шумом на весь мир, хоть в историю войдут. А Эверт сколько потерял? Наверно...

— Тысяч семьдесят.

— Вот! И — ни звука. Вот так мы умираем.

Свечин-то много знает, не всё сразу вытянешь.

Орудия нам присылают — на тебе, убоже, что самому не гоже. От нашей хрустящей конской амуниции, от зарядных ящиков из кондовой древесины — не отказываются. А паровозов нам нужно 300 штук — не дают. Их формула: потребности Западного фронта громадны, оторвать от него не можем.

Да это что! — а людей!.. Уже вскоре после самсоновской катастрофы союзники имели наглость просить у нас четыре корпуса во Францию через Архангельск. А потом у них были потери в ударных сенегальцах — и с марта этого года они безсовестно требовали от нас 400 тысяч наших солдат, на свой фронт, по 40 тысяч каждый месяц.

Воротынцев не то что высвистнул, а — выдохнул как пар паровозный: во-о-он за чем приезжали эти морды благообразные, Вивиани с Тома, отснятые для всех иллюстрированных журналов. И получили-таки русский экспедиционный корпус! Дичей этого корпуса выдумать нельзя: чтобы сидели русские мужики за семью морями в чужих траншеях как колониальные сенегальцы.

— Ну, ни за что б я не дал этого корпуса! — бурлил Воротынцев. — Значит, воевать до последней капли крови, только русской? Ну нет у Государя твёрдости, ну нету!

И по Свечину пошарил взглядом, как он насчёт Государя? Не должен бы измениться.

— А куда ж денешься? — со своим обычным спокойным пессимизмом возражал гологоловый, гололицый Свечин, обстриженные маленькие чёрные усики под большим носом. — Алексеев поторговался с Государем, с французами, но 6 бригад по 10 тысяч пришлось дать. У союзников логика железная: поскольку недостаток вооружения не позволяет русским использовать все свои силы, то не нам должны добавить оружия, а мы должны свободный людской персонал уделить на их фронт. — Усмехнулся: — Как модный поэт читает по эстрадам: «Лишь через наш холодный труп пройдут враги, чтоб быть в Париже».

А взгляд Воротынцева, мимо свечинского плеча, пришёлся на ту пару, севшую через три стола. И почему-то тот неназванный модный поэт совместился для него с этим декадентом с навитыми локонами, спиной сюда. А Ликоня сидела очень удобно для наблюдения, в три четверти.

И хотя Воротынцев уже давно убрался от них мыслями, и разговор со Свечиным был жизненно важен, и всегда б он был весь тут, вонзаясь, — а вот какое-то новое остаточное внимание появилось в нём, не уходило из глаза, из мысли: о чём они там могут разговаривать? чем живут? И что ему эта девица, которую он никогда не увидит больше? — но что-то востромчивое от неё вошло, её присутствие почему-то всё время ощущалось. Разной женственности, оказываются, бывают женщины. Эта изгибистая девушка виделась как частица всего, что так густо в эти дни захлебнул Воротынцев. Но уже по тому, как она с извозчика соскочила в обнимку, и у гардероба была вся повадка отданная, привязанная, досадно убеждался и самый безкорыстный наблюдатель, что эта Ликоня со внимательно-медленными глазами и двойным водопадом волос...

— Так и выражаются откровенно: вы нам — солдат, тогда мы вам — оружия. Подвигами нашими умеренно восхищаются, а платежей требуют как ростовщики: за все военные заказы систематически платим наличным золотом в лондонский банк, а в долг — ничего. И вот истощилась валюта — и не можем делать военных заказов, сокращаем.

Свечин морщил крупный жёсткий нос, как от дурноватого запаха.

Даже не в долг?! Ну, как бы ты ни был предостережён, как бы ни ждал дурного — а всего никогда не угадаешь. Требуя по 40 тысяч русских тел в месяц — и за каждую железку тут же золото на кон? Нет, этого западного торга нам никогда не понять! И куда же мы отдаём?

— У Головина-то мы ещё восемь лет назад говорили: развивать военное производство, чтоб ни от кого не зависеть. Так тогда и нафталинные старцы и умная Дума пожалели именно золота. А теперь — отвезли его всё.

Воротынцев страдательным голосом:

— Ком-мерсанты! Мы для них — не товарищи по несчастью, а удобная дубина? Франция — просто купила нас. Как же можно при нашем богатстве да так попасть? Как же воевать так неравно?

И под такие вопросы — только *одно* лицо всегда выставлялось перед ним, со своим стеснённо-равнодушным выражением. Ведь *он* — всё это знает! Как же он может так уступать? Зачем полез в такую петлю? Почему не заговорит с союзниками твёрдо: мол, иначе выйдем из войны?

— Мы — вообще одни, никто с нами искренно, — выливал Воротынцев свою настоявшуюся горечь. — И что когда-нибудь хорошего делали нам англичане или французы? Почему, собственно, они наши союзники? Как легко мы им простили Крымскую войну! А Японскую?

Ведь Англия была японским союзником, подарила Японии два броненосца с британским экипажем, продала три десятка вспомогательных пароходов, снабжала японский флот своим углем, на их угле Того вёл все сражения. А у Франции было с Англией «сердечное согласие» — а с нами само собой тянулся союз против Германии, но никакой поддержки нам — как это? Где ж наше соображение? И сегодня же союзники наперебой отплёвываются, что им, демократам, пришлось взять в союз такую гадкую, реакционную Россию. В прошлом году Ллойд Джордж публично злорадствовал нашим отступлениям и потерям.

— Их друзья американцы — к нам открыто враждебны вторую войну. Зачем и почему мы с ними союзники?!

Возобновлялись их обычные прежние друг с другом роли: роль Воротынцева — произносить горячие разоблачения, роль Свечина — с угрюмой насмешливостью напоминать безнадёжные факты, но побольше молчать и равномерно служить.

— Или Балканы? — не унимался Воротынцев. — Стоило нам для болгар брать Плевну, мёрзнуть на Шипке? Вся идея возглавить славянство — ложная, вместе и с Константинополем! Из-за славянства мы с немцами и столкнулись. Шли они на Балканы, дальше в Месопотамию — а нам что? это — английская забота. Да и для сербов — чего мы добились? Третий год воюем за

Сербию и Черногорию — и что? Они стёрты с лица земли. И мы — шатаемся. Миллионы — в земле, два миллиона в плену, если не больше, да крепости сокрушены, области отданы — всё для союзников! Почему Англия могла перебросить войска на материк через год — а мы должны были в две недели выложиться? А после Самсонова — можно было не переть на Германию, вопреки собственной доктрине, не перемолачивать кадровую армию? И румын в союзники нам навязали французы!

Свечин и спорил и не спорил, усмехался попышливо, дымом:

— И нас же упрекают, что наши военные усилия в Румынии недостаточны.

— И всё — из-за проклятого константинопольского миража! — сек Воротынцев. — Как будто нам дуракам наши дорогие союзники уступят проливы когда-нибудь, чем мы думаем? И что за тупая жадность — почти всеобщее ослепление этим Константинополем, будь он неладен! И Достоевский туда же. И от самых крайних правых и до кадетов, даже до Шингарёва, — жизни им нет без Константинополя!

В меню стояли цены непостижимо высокие. Но и — выбор. Не слишком по карману... А что ж тут пить? Генеральские звёзды надо ж обмыть? Не может быть, чтобы водки не устроили, небось как-нибудь тайно...

Как церковная вера неуклонно раскладывается на народ, а для чистой публики всегда допускаются полегчания, так и здесь не могло не быть изъятий.

Свечин когда и согласен, так посмеивается, Свечин свои заборцы знает. Он — критик особенный, к нему привыкнуть. Вот он знал о союзниках горше Воротынцева, но через каменные заборцы не прыгал. Знай ругай, а служи в своём загоне.

— Кстати, знаешь: Алексеев предлагал вообще с Турцией помириться и фронт ликвидировать.

— Да что ты! И он бывает такой умница? И что ж?

— А ничего ж. Чем у нас может кончиться?... А по-твоему что ж, надо было союзничать с немцами?

— Один отставной корпусной генерал, как только войну объявили, сказал: ну всё, погибли две империи, российская и германская. Я тогда ещё этого не оценил. Не говорю союзничать — но можно было удержаться в хорошем нейтралитете. И они нам его не раз предлагали, хоть в Девятьсот Седьмом.

— Но нам нужно было одним рывком избавиться от немецкого засилия.

— Но для этого не непременно воевать! У нас это проговорить невозможно — сблизиться с центральными державами. Кадеты мешали вооружаться — но при этом с Германией не мирись! Конечно, уже имея договор, получается, что надо было спасать Францию. Но раньше того: мы не нуждались ни в этом договоре, ни в этом союзе, ни в территориях. Наша потребность — только внутреннее развитие. Это понимал и делал Столыпин.

Но свечинскую глыбу так просто не сдвинешь. Скучно посапывал:

— Да и Германия во время Японской интриговала. Она в таком союзе с нами была, чтоб задушить торговым договором, брали зерно задаром. А старое вспоминать — так кто на Берлинском конгрессе запретил нам проливы? Почему Скобелев говорил: «Дорога в Константинополь ведёт через Берлин»? Всегда смотрели немцы на Россию как на навоз для удобрения.

Это правда, что ни вспомнишь — то унижение. Ну, и русская политика.

— В общем — были пути уклониться от этой войны. И надо было.

— Нет. Раз Германия твёрдо решила с нами воевать — без унижения мы уклониться не могли. Они бы вынуждали нас, следовал бы позор за позором. Чтобы против Германии мочь ровно стоять — нам неизбежен был союз с Францией. Вот Александр III и принял. А иначе б мы остались один на один.

— Ну и что? Что ж, у нас спина хрупче, чем у Германии? Ну не-ет! Ещё одна Отечественная война? Так вот тогда б наш народ и стал — заедино и до последнего, не как сейчас. А стань в положение Германии, разве она не одна? Кто у них по сути союзник? Да никто. А стоят — против всего мира, я-те дам! Они стоят одни — так мы, гигантская страна, не простояли бы? Ну что нам этот коммерческий конфликт между Англией и Германией? — он нас не касается, зачем мы туда встряли? Если Россия куда лезет — то только по неосознанию своей силы. Если б мы понимали себя — никогда бы мы не тесались в игру этих мальчишек. Что нам в каждой драке непременно надо? Дураки политику обдумывают. Вообще никто не обдумывает. Мы — тем сильнее, чем твёрже в своих пределах. Да, ты прав, нам послан был урок Турецкой войны: мы воевали, умирали, а другие, в нейтральности, пальцем не пошевели, направили как хотели.

И в *эту* войну нам бы всего только — не мешаться, деритесь, а мы ни при чём, да два года мирно постоять, — так не было бы силы, сравнимой с нашей.

— Ну, Егорий, что о том говорить, чего не жарить, не варить. Правильно, неправильно, но историю не переделаешь, что уж ты так горячишься?

— А то, что и сегодня из этого вытекает, как нам быть дальше! — не гнулся Воротынцев.

— Как же? — уже заранее высмеивал Свечин.

— А-а... — менять весь наш взгляд на веденье этой войны. Перестать пробивать стену лбом, не считаясь с жертвами.

— Вот тебя не поставили вместо Алексеева! И как бы ты это делал?

— Я бы? — Готов, но замялся. — Ну, по крайней мере Шестнадцатый год *продремал* бы, никуда бы не лез.

Тут усилился шум на банкете в конце залы, что-то объявили — и те непойманные мародёры или провизоры, нажившиеся на опиуме и кокаине, стали аплодировать холёными руками. Кто-то раскланялся — свадьба не свадьба, юбилей? выгодная сделка? — отдёрнулась занавеска, а за нею

-

подвешено какое-то колесо. И двое служителей стали быстро поджигать его в разных местах. И отскочили тут же.

Колесо само завертелось, густо рассыпая искры бенгальского, всё сплошной занимаясь огнём по диску, в три цвета: серебристый из центра, голубой по большому кругу и красный по ободу, как бы национальный флаг, только во вращении. Закружившийся, заверченный флаг.

Ах, как забавно! Ах, как весело придумано! — смеялись, хвалили, аплодировали мародёры.

Но пиротехники не рассчитали: поредел серебристый цвет, поредел голубой, и исчерпались оба, а объемлющий красный — нисколько. Так и вертелся налитым ободом.

Красным.

Алым.

Багряным.

Огненным.

Докручивался, рассыпая искры.

Не так, а где-то что-то подобное...?

Да! Мельница горела в Уздау...

Водку подали им в нарзанной бутылке. Изобретателен бес. Как это может быть? Да платят полиции взятки, вот те и не замечают.

А уж это — причуда посетителей-офицеров, что они к нарзану заказали солёную закуску.

А на какой-то стол принесли толстый чайник с «белым чаем». Устраиваются.

Ну что ж, начали?

По стопке, по стопке — с отвычки грело и разбирало веселовато.

За эти полчаса со Свечиным Воротынцева уже покидала та самодовольная победность, распиравшая его тело, дозвуки гонга в нём уже не стали звучать, — возвращалось тело в свою обычную жизнь — и дремавший ум просветлялся.

Войну — надо вести иначе. Не надеяться, что она вот к лету кончится, а — менять весь её характер.

Свечин согласен: менять методы ведения войны. Как мы застыли в окопных линиях — из этого вырваться непросто, можно и десять лет просидеть. И вот есть идея, которую в Ставке никто не слушает: не стараться толкаться целыми фронтами, а формировать хорошо подготовленные, отлично снабжённые ударные группы, все — на копытах и на колёсах. Прорвать фронт хоть узко, хоть на несколько часов, — и бросить такую группу глубоким рейдом! Такой войны немец не выдержит, это будет почище партизан в Отечественную. А ответить тем же он нам не может, потому что наши рейды у нашего населения найдут помощь, а он — не найдёт.

Нет. Вот теперь-то, обежав места неразногласные, и раздиралось их понимание от разноты опыта за два года.

— Не в приёмах, Андреич. Уже не в оперативных приёмах. Я тебе говорю: менять весь её *характер*!

Из штаба Верховного видно не то, что из полковой землянки. Кто засиделся в штабе, тот забывает чувствовать погибших. Им — можно ноли при числах подсчитывать. Но...

— Ты оглянись, ты ощути — сколько мы уже народа нашего перебили? Уж офицеров — и лучших, и средних, всех перебили, давай вспоминать. И сколько уже таких полков, как 1-й Сибирский, где ни одного не осталось? Вместо кадровых — прапорщики «с идеями». А главную массу наших унтеров мы погубили в Четырнадцатом году. Сейчас

русских уже побито больше, чем когда-нибудь в нашей истории, в любых войнах. И льётся именно и почти исключительно — русская кровь. Кавказцев — мы не призываем, ладно. Туркестанцы не захотели идти даже на тыловые работы — мы согласились, хорошо.

— А инородцами много не навоюешь. В пехотную службу они пойдут неохотно, они — кавалеристы, а по нынешней войне кавалерию надо как можно уменьшать, знаешь сам. А такого упорства в бою, как у русских, — ни у кого нет.

— Кто тянет, того и погоняй, да? Что мы делаем! — ратников гоним, беззащитные бороды. Своими руками гоним Россию на смерть. Если других щадим — почему же своих не щадим? Мы проигрываем больше, чем войну, — народ! Это невероятно, что мы выкачали из страны миллионов сколько? тринадцать? и продолжаем качать дальше, уже мальчиков 19-летних. А в окопах всё равно не сидит и три миллиона — а где остальные? И лошадей сгоняем, разоряем тыл — зачем? У немцев был перерыв в войнах сорок три года, а у нас — всего девять. Но кто же воюет умелее?

— Со всей их умелостью они сейчас лошадей кормят суррогатом из соломы и древесины. Конечно, организация. Но они задыхаются без людей, без продуктов, без материалов — и наш фронт, наоборот, представляется им грознейшей силой.

— Да? А наш тыл? Нам с фронта ещё очень мало видно. — Он сказал «нам с фронта» из вежливости, понимая, что у Свечина в Ставке слишком взнесенная и неугнетённая точка зрения. — Мы с позиций только и смотрим вперёд, на неприятеля. А поездишь — наслушаешься... «Надо бить немца сперва внутреннего!..» «Не умеете воевать — кончайте!» Рабочие уже бунтуют и захватывают запасные части.

— Ну уж! Страсти-мордасти.

Да! Вот за эти дни в Петрограде. Очень серьёзные волнения на Выборгской стороне. Полиция... А соседний запасной 181-й полк... Чуть передайся через мосты — и во всём Петрограде...

Ну уж!

Когда не случилось — так всегда «ну уж!». А когда случится, так: иначе быть не могло.

А мародёры там, в глубине зала, шумно веселились, в хохоте взрывались. И все, конечно, имеют законное право не воевать, сорить деньги и праздновать в ресторане Кюба даже по будним дням.

Конец ознакомительного фрагмента.
Для приобретения книги перейдите на сайт
магазина «Электронный универс»:
e-Univers.ru.